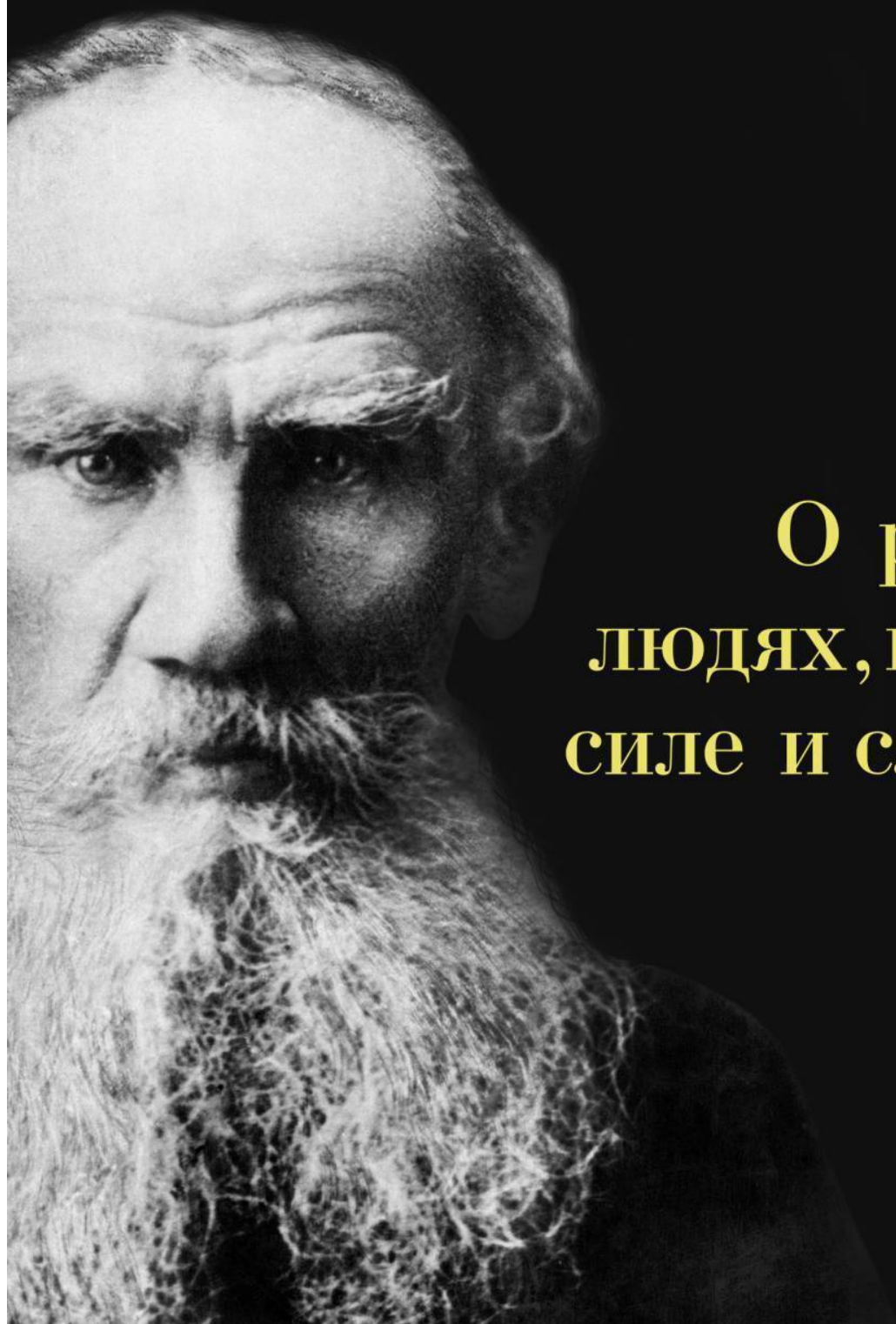


Лев Толстой

(НЕ)ГЛУБИННЫЙ
НАРОД



О русских
людях, их вере,
силе и слабости

Лев Толстой. Избранные труды

Лев Толстой

**(Не)глубинный народ. О русских
людях, их вере, силе и слабости**

«ЭКСМО»

2019

УДК 821.161.1-4
ББК 84(2Рос=Рус)1-44

Толстой Л. Н.

(Не)глубинный народ. О русских людях, их вере, силе и слабости
/ Л. Н. Толстой — «Эксмо», 2019 — (Лев Толстой. Избранные
труды)

ISBN 978-5-04-102317-1

Изучать все творчество Л. Н. Толстого, его жизнь, поступки, труды – становиться свидетелем колоссальной жизненной драмы бесконечно страдающей, ищущей, равнодушной, томящейся души, исполненной ужаса перед небытием и боли от повсеместной несправедливости и глубокой испорченности устройства жизни. Именно стремясь к гармонии между своими убеждениями и окружающей реальностью, в поиске пути спасения от ужаса и боли, Толстой пришел к радикальной теме вреда государственной машины как таковой и как источника насилия над народом, могущим стать как образцом духовной любви и кротости в своем естественном следовании Евангелию, так и воплощением демонических сил разрушения и хаоса. В эту книгу вошли его остросоциальные работы «Так что же нам делать?», «Обращение к русским людям. К правительству, революционерам и народу», «О социализме», написанные на пике предельно напряженного проникновенного понимания русской души, желаний и тягот простого народа, воли людей к порядку и справедливости, их силе и бессилию перед государственной машиной.

УДК 821.161.1-4
ББК 84(2Рос=Рус)1-44

ISBN 978-5-04-102317-1

© Толстой Л. Н., 2019

© Эксмо, 2019

Содержание

| | |
|--------------------------------------|----|
| Утопия Льва Толстого | 7 |
| Искаженное зеркало русской революции | 10 |
| Так что же нам делать? | 12 |
| I | 12 |
| II | 15 |
| III | 18 |
| IV | 22 |
| V | 24 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 26 |

Лев Толстой

Лев Толстой. (Не)глубинный народ. О русских людях, их вере, силе и слабости

Как бы ни унижал себя этот гигант, какими бы бранными лохмотьями ни прикрывал свое могучее тело, всегда в нем виден Зевс, от мановения бровей которого дрожит весь Олимп.

Илья Репин

© Абрамян Г. С., составление, вступительные статьи и комментарии, 2019

© ООО «Издательство «Эксмо», 2020

Утопия Льва Толстого

Одна из самых уникальных особенностей Льва Николаевича Толстого – актуальность его идей, мыслей, всего того, что волновало писателя и воплотилось в романах, которые читает весь мир, его размышлениях и записях, разошедшихся на цитаты и афоризмы, и его статьях, с которыми знакомы очень немногие. Со дня смерти Толстого прошло уже 110 лет, и тем не менее Лев Николаевич поразительно современен.

Рискнем предположить, что секрет своевременности его раздумий кроется в их утопичности, то есть в их принципиальной нереализованности, а значит, в вечном стремлении к идеалу.

Под утопией в данном случае понимается неосуществимая теория об идеальном, совершенном обществе. Такая мечта об идеальном обществе не раз заканчивалась трагично для ее зачинателей: начиная с Томаса Мора и кончая декабристами и идеалистически настроенными революционерами-марксистами. Лев Николаевич в качестве зеркала русской революции невольно встроился в этот ряд. Его проект уходит корнями в самую древнюю, но, увы, до сих пор неосуществимую мечту человечества – построение рая на земле. Но, пожалуй, самой великой и манящей утопией в мире с самого момента своего создания является христианство.

Религиозные мыслители утверждают, что утопию порождает отход от Церкви и ее понимания христианства. Церковь сделала себя бессменным правообладателем и единственно верным толкователем евангельских истин. Однако сама по себе христианская идея тоже во многом утопична в том смысле, что буквальное выполнение всех заповедей ее основателя невозможно в принципе и зависит от той или иной трактовки.

Собственно, трактовки стали появляться в том числе по причине невозможности буквального понимания и исполнения всех заповедей, особенно произнесенных в Нагорной проповеди. Иначе не появилось бы такого количества разночтений, породивших конфликты, ереси и в конечном итоге приведших к разделению Церкви на конфессии. Справедливости ради нужно отметить, что подобного испытания не избежала ни одна мировая религия. Начнем с того, что сами по себе заповеди христианства – это заповеди, данные Моисею для народа Израиля. Сам Христос и не скрывал, что за основу своего учения взял иудейский нравственный закон, в лоне которого вырос: «Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви» (Ин. 15:10), «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном; а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном» (Мф. 5:17).

И тем не менее нарушили. Более того, нарушенный, упрощенный и измененный местами до неузнаваемости закон Моисея в христианстве также требовал пояснений, которые не преминули появиться. Но с легкой руки теоретиков новой религиозной доктрины эти пояснения уходили все дальше от первоначальной версии скрижалей. В частности, нас интересует камень преткновения толстовской этики – заповедь «Не убий».

В Законе (Торе) помимо непосредственно перечня установлений присутствует объяснение их глубинного смыслового значения и поясняются тонкости практического применения. -узылопсИтак, в заповеди «Не убий» в оригинале: «לֹא תִרְצֹחַ» – ты не должен убивать (ивр.) ется глагол «רָצַח», обозначающий безнравственное преднамеренное убийство (похож на англ. murder), в отличие от любого убийства вообще, например, в целях самообороны, во время военных действий или в результате судебного приговора (в англ. kill). В самой Библии встречаются упоминания о смертной казни в результате нарушения некоторых заповедей, следовательно, этот глагол не может означать любое убийство, при любых обстоятельствах. «Кто уда-

рит человека так, что он умрет, да будет предан смерти... если кто с намерением умертвит ближнего коварно, то и от жертвенника Моего бери его на смерть. Кто ударит отца своего, или свою мать, того должно предать смерти. Кто украдет человека и продаст его, или найдется он в руках у него, то должно предать его смерти» (Исх. 21:12–16). «Если найден будет кто лежащий с женой замужней, то должно предать смерти обоих: и мужчину, лежавшего с женщиной, и женщину; и так истреби зло» (Втор. 22:22). «Если дочь священника осквернит себя блудодеянием, то она бесчестит отца своего; огнем должно сжечь ее» (Лев. 21:9). Таким образом, при конкретном значении в таком контексте у верующего не возникает вопросов относительно применения данной заповеди в жизни. А вот в Новом Завете эта заповедь не предполагает никаких пояснений. В тексте Евангелий ничего не сказано о жизненных условиях, в которых она может быть обойдена, что порождает множество вопросов, разночтений, споров, начинающихся со слов: «А если...». И вот тут возникают исключения из правил и разного рода трактовки. Вообще, конечно, «не убий», но в данном случае... То есть, конечно, нельзя, но если очень надо, если обстоятельства сложились так-то... и т. д. без конца и края.

То же относится и к пресловутой левой щеке, которую надо подставлять после пощечины по правой. Тут же начинается обсуждение относительности данного совета, зависимости ситуации от контекста, трактовка смысла, степени благочестия исполняющего и т. д. и т. п. Но в евангельском тексте никаких оговорок нет, значит, в этом случае постановление требует буквального исполнения. И много ли встретится людей, следующих этому совету основателя христианства даже среди служителей культа? А вот иудейское «око за око» наблюдается сплошь и рядом.

«Возлюби врага своего» – в прямом смысле понимать данный совет значит отдать врагу все, что он хочет – свою землю, свой дом, своих близких на поругание? Готов ли к этому каждый христианин? Идеалом каждого исповедующего Евангелие должен быть сам Христос, непротивление злу по Его примеру, то есть в идеале каждый верующий христианин должен быть подобен Христу. Возможно ли это? И не этого ли хотел граф Толстой? Общество людей, подобных Христу – не утопия ли? И даже если представить себе идеалистическую картину такого хриstopодобного коллектива размером хотя бы с небольшое государство, что сделают правительства окружающих его стран? Правильно. Съедят!

Недаром десять заповедей и Нагорная проповедь подверглись большому числу толкований в богословской литературе. Слишком все неоднозначно и слишком много сложных вопросов возникает относительно совместимости этих заповедей с повседневной жизнью христианина. Именно поэтому среди богословов различных христианских конфессий нет единого мнения о Нагорной проповеди. Вот и выходит, что без ежечасной интерпретации той или иной богословской традиции бедному христианину и шагу не ступить. Отсюда и незаменимая роль Церкви.

А вот дословное абсолютное и безоговорочное исполнение всех евангельских заповедей по тексту является недостижимым стремлением даже для самих служителей Церкви, и люди, понимающие их буквально и старающиеся выполнять в точности, назывались в народе *юродивыми Христа ради* (от старославянского оуродъ, юродъ – «дурак, безумный»). Выходит, евангельский идеал – это юродивое человечество? Конечно, безумие *Христа ради* мыслится в не в психопатологическом смысле, а в духовном. Ученики Христа призывали «во всем претерпеть то, что Он претерпел», и, подобно Учителю, стать «безумными» для «мира сего». По проповеди апостола Павла юродство оправдано «ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом...» (1 Кор. 3:19). Тем не менее подобное поведение пока не наблюдается в массовом порядке даже у самых рьяных последователей Христа. Выходит, евангельские призывы до сих пор остаются принципиально недостижимым идеалом.

Религия Христа как некий идеал прообраза Царства Божьего на земле предположительно должна была противостоять греховности и насилию государственного устройства, а не входить

с ним в сговор. Однако в 325 г. решение Первого Никейского Собора узаконило все действия государственного аппарата и государя как «поставленного от Бога епископа внешних дел», то есть носителя Божьей власти на земле, что само по себе уже противоречило евангельской идее. Отныне фраза «Богу – Богово, кесарю – кесарево» стала иметь совсем иной смысл, а статус «государственная» стал означать отсутствие христианской религии как таковой, так как она оказалась на службе государственных амбиций. Церковь подчинилась светской власти, а Константин в качестве ее новоиспеченного главы обязал всех последователей Христа искать спасения единственным официально утвержденным путем – через Римско-Католическую Церковь. После этого начался новый период кровавой и страшной истории христианства, породившей испанскую инквизицию, кровавые крестовые походы и множество религиозных войн во имя Христа и Креста.

Противоречия между постулатами Евангелий и реальной жизнью людей и вызывали недоумение у Л. Н. Толстого. Но не только у него. Такие же противоречия породили теоретиков атеизма и агностицизма. Однако Толстой не был ни тем, ни другим. Он лишь позволил себе быть последовательным в своем постижении идеалов христианства.

В отличие от других, не менее великих деятелей человечества, ищущих смысл жизни, Толстой поднимал вечные вопросы добра и зла, не стесняясь выражать свое мнение достаточно резко, не стараясь завуалировать неприятную истину красивыми и витиеватыми высказываниями. Он видел смысл жизни духовного человека в четком понимании нравственных законов, продиктованных евангельскими истинами, в простых и очевидных формулировках, и в постоянном сомнении относительно своего соответствия этим законам.

В этом смысле тем более странно выглядит критика поведения Толстого, последовательно действовавшего в рамках христианских догм. Вот что об этом писал один из самых ярких русских писателей XX века, лауреат Нобелевской премии по литературе Иван Алексеевич Бунин: «Христос тоже звал “с родины на чужбину”: “Враги человеку домашние его... Кто не оставит ради меня отца и матери, тот не идет за мной”. Их немало было, “благородных юношей, покинувших родину ради чужбины”: был царевич Готами¹, был Алексей Божий человек², был Юлиан Милостивый³, был Франциск из Ассизи... К лику их сопричислился и старец Лев из Ясной Поляны»⁴.

¹ Принц Сиддхартха Гаутама, Будда.

² Преподобный Алексей, христианский святой, почитаемый Православной и Католической Церквями.

³ Святой Юлиан Странноприимец, Странноприимник, Гостеприимный, или Юлиан Бедный – католический святой; покровитель путников.

⁴ И. А. Бунин. Освобождение Толстого. Собр. соч. в 9 томах. Т. 9. М., 1967.

Искаженное зеркало русской революции

*Ты и убогая, ты и обильная,
Ты и могучая, ты и бессильная – Матушка Русь!*

Н. А. Некрасов

В. И. Ленин, назвав Толстого «зеркалом русской революции», имел в виду, конечно же, не предтечу революционного бунта. Зеркало – то, в чем отражается действительность. Но Толстой не отражал революцию, он напротив, всем своим существом противился любому вооруженному конфликту. В его описании народных бед столько боли и сочувствия, столько негодования на тот существующий порядок вещей, который привел к бедственному положению народа, что его скорее можно назвать зеркалом русской жизни. Что касается революции, то в одном аспекте с вождем мирового пролетариата трудно не согласиться: «Противоречия во взглядах и учениях Толстого не случайность, а выражение тех противоречивых условий, в которые поставлена была русская жизнь последней трети XIX века»⁵.

Неудивительно, что всякое событие, связанное с творчеством Толстого, особенно последней трети его жизни, вызывало широкий общественный резонанс. Бесспорный гений художественного слова, он в качестве религиозного философа вызвал на себя шквал до сих пор не утихающей критики. Но феномен толстовского гения именно в том, что одно без другого немислимо.

«Всякое ли художественное творчество есть религиозная трагедия или русское творчество, в своем высочайшем и вполне созревшем напряжении, становится трагедией чисто религиозной?» – писал русский символист Андрей Белый. «Великий русский художник явил нам идеал святости, перекинул мост к народу: религия и безрелигиозность, молчание и слово, творчество жизни и творчество художественное, интеллигенция и народ – все это вновь встретилось, пересеклось, сливалось в гениальном, последнем, красноречивом жесте умирающего Льва Толстого. ...его уход и смерть есть лучшая проповедь, лучшее художественное произведение, лучший поступок жизни».⁶

Тот самый мост к народу, о котором пишет А. Белый, Толстой строил всю жизнь. Начиная с Платона Каратаева в «Войне и мире» и заканчивая образом старика-сектанта в романе «Воскресение» все его «народные» персонажи обладали сходными качествами. Он не идеализировал их, но рисовал образ сильный, негибаемый, «мрачный, широкий, прямой, не гибкий. И лицо, и платье его, и речь его были необыкновенно тверды и чисты»⁷.

В романе «Анна Каренина» Толстой выразил это отношение словами и мыслями своего самого автобиографического героя Константина Левина, который приходит «в восхищение от силы, кротости, справедливости» народа, но его раздражают «беспечность, неряшливость, пьянство, ложь», хотя «он считал и самого себя частью народа».

Все представители низшего сословия в его произведениях душевны и естественны, ибо близки к природе. В них есть и горячность, и простота натуры, и стремление к «правде жизни». «Л. Толстой есть величайший изобразитель этого не телесного и не духовного, а именно телесно-духовного – душевного человека, той стороны плоти, которая обращена к духу, и той стороны духа, которая обращена к плоти, – таинственной области, где совершается борьба

⁵ В. И. Ленин. Лев Толстой как зеркало русской революции. «Пролетарий» № 35, 11 (24) сентября 1908 г.

⁶ А. Белый. Трагедия творчества. Достоевский и Толстой. Источник: <http://tolstoy-lit.ru/tolstoy/kritika-o-tolstom/belyj-tragediya-tvorchestva-dostoevskij-i-tolstoj.htm>

⁷ Из незавершенного рассказа «Прения о вере в Кремле» 1878 г.

между Зверем и Богом в человеке: это ведь и есть борьба и трагедия всей его собственной жизни...» – так писал о нем Д. С. Мережковский⁸.

Изучать все творчество Толстого значит разгадывать великую тайну его бесконечно страдающей, ищущей, томящейся души, исполненной ужаса перед небытием. «Душу целого поколения заразил он своим ужасом», – пишет Дмитрий Мережковский.

Все, что он делал, все, о чем писал, что вызывало его страдания и в конце концов побудило его покинуть дом на закате жизни, – все это было продиктовано желанием избавиться от этого ужаса и достичь наконец гармонии между внутренними убеждениями и внешними проявлениями своей жизни. Именно в поисках этой гармонии и пути спасения возникла тема вреда государственной машины как таковой, включая суды, армию, полицию и т. д., как источника насилия над народом и необходимость отречься от всего этого в пользу буквального следования Евангелию, духовной любви и кротости.

Изучая творчество Толстого, необходимо помнить, что его мысли, взгляды и выводы нельзя рассматривать как нечто статичное, взятое в один момент времени и остающееся неизменным. В каждый период своей жизни, в каждом «фазисе», как называл эти отрезки жизни сам яснополянский мыслитель, открывают нам разного Толстого. Поэтому жонглирование отрывками из его трудов, цитирование отдельных фраз, вырванных из контекста произведения, и главное, вырванных из контекста исторического и личного психологического переживания, приводят к искажению смысла, заложенного автором, и, следовательно, к ошибочному их пониманию. Загадка толстовского феномена кроется в том, что понять его можно, только рассматривая все его убеждения в их эволюционном движении и только испытывая к нему сочувствие и любовь в самом христианском, самом совершенном смысле этого слова.

Тема ненасилия и духовной любви в мире все возрастающей агрессии остается актуальной и в среде ученых, и среди религиозных мыслителей. Постепенно к ней склоняются политики и экономисты. Выходит, утопичность идей Толстого притягивает к себе как вечная незакрытая тема и будет актуальной до тех пор, пока существует человечество.

«Спустя полвека после смерти Толстого Владимир Набоков читал лекции по русской литературе американским студентам. Один из его учеников, Альфред Аппель, так вспоминал об этом: “Внезапно Набоков прервал лекцию, прошел, не говоря ни слова, по эстраде к правой стене и выключил три лампы под потолком. Затем он спустился по ступенькам – их было пять или шесть – в зал, тяжело прошествовал по всему проходу между рядами, провожаемый изумленным поворотом двух сотен голов, и молча опустил шторы на трех или четырех больших окнах... Зал погрузился во тьму. ...Набоков возвратился к эстраде, поднялся по ступенькам и подошел к выключателям. “На небосводе русской литературы, – объявил он, – это Пушкин!” Вспыхнула лампа в дальнем левом углу нашего планетария. “Это Гоголь!” Вспыхнула лампа посередине зала. “Это Чехов!” Вспыхнула лампа справа. Тогда Набоков снова спустился с эстрады, направился к центральному окну и отцепил штору, которая с громким стуком взлетела вверх: “Бам!” Как по волшебству в аудиторию ворвался широкий плотный луч ослепительного солнечного света. “А это Толстой!” – прогремел Набоков»⁹.

Он был первым, кто отказался от авторского права.

Он отказался от Нобелевской премии.

Он представлял себе совершенное устройство жизни как огромную народную общину.

Он был великим идеалистом и как всякий пророк-идеалист в своем отечестве был обречен на фиаско.

⁸ Д. С. Мережковский. «Л. Толстой и Достоевский».

⁹ Русские писатели. XIX век: Биографии. Большой учебный справочник для школьников и поступающих в вузы. – М.: Дрофа, 2000.

Так что же нам делать?

И спрашивал его народ, что же нам делать? И он сказал в ответ: у кого есть две одежды, тот отдай нищему; и у кого есть пища, делай то же.

(Луки III, 10, 11.)

Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут.

Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут.

Ибо где сокровища ваши, там будет и сердце ваше.

Светильник для тела есть око. Итак, если око твоё будет чисто, то всё тело твоё будет светло.

Если же око твоё будет худо, то всё тело будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма?

Никто не может служить двум господам; ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне.

Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды?

Итак не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что пить? или во что одеться?

Потому что всего этого ищут язычники; и потому что Отец ваш небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом.

Ищите же прежде царствия Божия и правды его, и это всё приложится вам.

(Мтф. VI, 19–25, 31–34.)

Ибо легче верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в царствие Божие.

(Мтф. XIX, 24; Луки XVIII, 25; Марка X, 25.)

I

Я всю жизнь прожил не в городе. Когда я в 1881 году переехал на житье в Москву, меня удивила городская бедность. Я знаю деревенскую бедность; но городская была для меня нова и непонятна. В Москве нельзя пройти улицы, чтобы не встретить нищих, и особенных нищих, не похожих на деревенских.

Нищие эти – не нищие с сумой и Христовым именем, как определяют себя деревенские нищие, а это нищие без суммы и без Христова имени. Московские нищие не носят суммы и не просят милостыни. Большею частью они, встречая или пропуская вас мимо себя, только стараются встретиться с вами глазами. И, смотря по вашему взгляду, они просят или нет. Я знаю одного такого нищего из дворян. Старик ходит медленно, наклоняясь на каждую ногу. Когда он встречается с вами, он наклоняется на одну ногу и делает вам как будто поклон. Если вы останавливаетесь, он берется за фуражку с кокардой, кланяется и просит; если вы не останавливаетесь, то он делает вид, что это только у него такая походка, и он проходит дальше, так же кланяясь на другую ногу. Это настоящий московский нищий, ученый. Сначала я не

знал, почему московские нищие не просят прямо, но потом понял, почему они не просят, но всё-таки не понял их положения.

Один раз, идя по Афанасьевскому переулку, я увидел, что городской сажает на извозчика опухшего от водяной и оборванного мужика. Я спросил:

– За что?

Городовой ответил мне:

– За прошение милостыни.

– Разве это запрещено?

– Стало быть, запрещено, – ответил городской.

Больного водяной повезли на извозчике. Я взял другого извозчика и поехал за ними. Мне хотелось узнать, правда ли, что запрещено просить милостыню и как это запрещено. Я никак не мог понять, как можно запретить одному человеку просить о чем-нибудь другого, и, кроме того, не верилось, чтобы было запрещено просить милостыню, тогда как Москва полна нищими.

Я вошел в участок, куда свезли нищего. В участке сидел за столом человек с саблей и пистолетом. Я спросил:

– За что взяли этого мужика?

Человек с саблей и пистолетом строго посмотрел на меня и сказал:

– Вам какое дело? – Однако, чувствуя необходимость разъяснить мне что-то, он прибавил: – начальство велит забирать таких; стало быть, надо.

Я ушел. Городовой, тот, который привез нищего, сидя в сенях на подоконнике, глядел уныло в какую-то записную книжку. Я спросил его:

– Правда ли, что нищим запрещают просить Христовым именем?

Городовой очнулся, посмотрел на меня, потом не то что нахмурился, но как бы опять заснул и, садясь на подоконник, сказал:

– Начальство велит – значит, так надо, – и вновь занялся своей книжкой.

Я сошел на крыльцо к извозчику.

– Ну, что? взяли? – спросил извозчик. Извозчика, видно, заняло тоже это дело.

– Взяли, – отвечал я.

Извозчик покачал головой.

– Как же это у вас, в Москве, запрещено, что ли, просить Христовым именем? – спросил я.

– Кто их знает! – сказал извозчик.

– Как же это, – сказал я, – нищий Христов, а его в участок ведут?

– Нынче уж это оставили, не велят, – сказал извозчик.

После этого я видал и еще несколько раз, как городские водили нищих в участок и потом в Юсупов рабочий дом.

Раз я встретил на Мясницкой толпу таких нищих, человек с тридцать. Спереди и сзади шли городские. Я спросил:

– За что?

– За прошение милостыни.

Выходило, что по закону в Москве запрещено просить милостыню всем тем нищим, которых встречаешь в Москве по нескольку на каждой улице и шеренги которых во время службы и особенно похорон стоят у каждой церкви.

Но почему же некоторых ловят и запирают куда-то, а других оставляют? Этого я так и не мог понять. Или есть между ними законные и незаконные нищие, или их так много, что всех нельзя переловить, или одних забирают, а другие вновь набираются?

Нищих в Москве много всяких сортов: есть такие, что этим живут; есть и настоящие нищие, такие, что почему-нибудь попали в Москву и точно в нужде.

Из этих нищих бывают часто простые мужики и бабы в крестьянской одежде. Я часто встречал таких. Некоторые из них заболели здесь и вышли из больницы и не могут ни кормиться, ни выбраться из Москвы. Некоторые из них, кроме того, и загуливали (таков был, вероятно, и тот больной водянкой). Некоторые были не больные, но погоревшие, или старые, или бабы с детьми; некоторые же были и совсем здоровые, способные работать. Эти совсем здоровые мужики, просившие милостыню, особенно занимали меня. Эти здоровые, способные к работе мужики-нищие занимали меня еще и потому, что со времени моего приезда в Москву я сделал себе привычку для моциона ходить работать на Воробьевы горы с двумя мужиками, пилившими там дрова. Два эти мужика были совершенно такие же нищие, как и те, которых я встречал по улицам. Один был Петр, солдат, калужский, другой – мужик, Семен, владимирский. У них ничего не было, кроме платья на теле и рук. И руками этими они зарабатывали при очень тяжелой работе от 40 до 45 копеек в день, из которых они оба откладывали, – калужский откладывал на шубу, а владимирский на то, чтобы собрать денег на отъезд в деревню. Встречая поэтому таких же людей на улицах, я особенно интересовался ими.

Почему те работают, а эти просят?

Встречая такого мужика, я обыкновенно спрашивал, как он дошел до такого положения. Встречаю раз мужика с проседью в бороде, здорового. Он просит; спрашиваю его, кто он, откуда. Он говорит, что пришел на заработки из Калуги. Сначала нашли работу – резать старье в дрова. Перерезали всё с товарищем у одного хозяина; искали другой работы, не нашли, товарищ отбился, и вот он бьется так вторую неделю, проел всё, что было, – ни пилы, ни колуна не на что купить. Я даю деньги на пилу и указываю ему место, куда приходить работать. Я вперед уже уговорился с Петром и Семеном, чтобы они приняли товарища и подыскали ему пару.

– Смотри же, приходи. Там работы много.

– Приду, как не прийти! Разве охота, – говорит, – побираться. Я работать могу.

Мужик клянется, что придет, и мне кажется, что он не обманывает, а имеет намерение прийти.

На другой день прихожу к знакомым мне мужикам. Спрашиваю, приходил ли мужик. – Не приходил. И так несколько человек обманули меня. Обманывали меня и такие, которые говорили, что им нужно только денег на билет, чтобы уехать домой, и через неделю попадались мне опять на улице. Многих из них я признал уже, и они признали меня и иногда, забыв меня, повторяли мне тот же обман, а иногда уходили, заведя меня. Так я увидел, что в числе и этого разряда есть много обманщиков; но и обманщики эти были очень жалки; всё это были полураздетые, бедные, худые, болезненные люди; это были те самые, которые действительно замерзают или вешаются, как мы знаем по газетам.

II

Когда я говорил про эту городскую нищету с городскими жителями, мне всегда говорили: «О! это еще ничего – всё то, что вы видели. А вы пройдите на Хитров рынок и в тамошние ночлежные дома. Там вы увидите настоящую “золотую роту”. Один шутник говорил мне, что это теперь уже не рота, а золотой полк: так их много стало. Шутник был прав, но он бы был еще справедливее, если бы сказал, что этих людей теперь в Москве не рота и не полк, а их целая армия, думаю, около 50 тысяч. Городские старожилы, когда говорили мне про городскую нищету, всегда говорили это с некоторым удовольствием, как бы гордясь передо мной тем, что они знают это. Я помню, когда я был в Лондоне, там старожилы тоже как будто хвастались, говоря про лондонскую нищету. Вот, мол, как у нас.

И мне хотелось видеть эту всю нищету, про которую мне говорили. Несколько раз я направлялся в сторону Хитрова рынка, но всякий раз мне становилось жутко и совестно. «Зачем я пойду смотреть на страдания людей, которым я не могу помочь?» – говорил один голос. «Нет, если ты живешь здесь и видишь все прелести городской жизни, поди, посмотри и на это», – говорил другой голос.

И вот в декабре месяце третьего года, в морозный и ветряный день, я пошел к этому центру городской нищеты, к Хитрову рынку. Это было в будни, часу в четвертом. Уже идя по Солянке, я стал замечать больше и больше людей в странных, не своих одеждах и в еще более странной обуви, людей с особенным нездоровым цветом лица и, главное, с особенным общим им всем пренебрежением ко всему окружающему.

В самой странной, ни на что не похожей одежде человек шел совершенно свободно, очевидно, без всякой мысли о том, каким он может представляться другим людям. Все эти люди направлялись в одну сторону. Не спрашивая дороги, которую я не знал, я шел за ними и вышел на Хитров рынок. На рынке такие же женщины в оборванных капотах, салопах, кофтах, сапогах и калошах и столь же свободные, несмотря на уродство своих одежд, старые и молодые, сидели, торговали чем-то, ходили и ругались. Народу на рынке было мало. Очевидно, рынок отошел, и большинство людей шло в гору мимо рынка и через рынок, всё в одну сторону. Я пошел за ними. Чем дальше я шел, тем больше сходилось всё таких же людей по одной дороге. Пройдя рынок и идя вверх по улице, я догнал двух женщин: одна старая, другая молодая. Обе в чем-то оборванном и сером. Они шли и говорили о каком-то деле.

После каждого нужного слова произносилось одно или два ненужных, самых неприличных слова. Они были не пьяны, чем-то были озабочены, и шедшие навстречу, и сзади и спереди, мужчины не обращали на эту их странную для меня речь никакого внимания. В этих местах, видно, всегда так говорили. Налево были частные ночлежные дома, и некоторые завернули туда, другие шли дальше. Взойдя на гору, мы подошли к угловому большому дому. Большинство людей, шедших со мною, остановилось у этого дома. По всему тротуару этого дома стояли и сидели на тротуаре и на снегу улицы всё такие же люди. С правой стороны входной двери – женщины, с левой – мужчины. Я прошел мимо женщин, прошел мимо мужчин (всех было несколько сот) и остановился там, где кончалась их вереница. Дом, у которого ждали эти люди, был Ляпинский бесплатный ночлежный дом. Толпа людей были ночлежники, ожидающие впуска. В 5 часов вечера отворяют и впускают. Сюда-то шли почти все те люди, которых я обгонял.

Я остановился там, где кончалась вереница мужчин. Ближайшие ко мне люди стали смотреть на меня и притягивали меня своими взглядами. Остатки одежд, покрывавших эти тела, были очень разнообразны. Но выражение всех взглядов этих людей, направленных на меня, было совершенно одинаково. Во всех взглядах было выражение вопроса: зачем ты – человек из другого мира – остановился тут подле нас? Кто ты? Самодовольный ли богач, который хочет

порадоваться на нашу нужду, развлечься от своей скуки и еще помучать нас, или ты то, что не бывает и не может быть, – человек, который жалеет нас? На всех лицах был этот вопрос. Взглянет, встретится глазами и отвернется. Мне хотелось заговорить с кем-нибудь, и я долго не решался. Но пока мы молчали, уже взгляды наши сблизили нас. Как ни разделила нас жизнь, после двух, трех встреч взглядов мы почувствовали, что мы оба люди, и перестали бояться друг друга. Ближе всех ко мне стоял мужик с опухшим лицом и рыжей бородой, в прорванном кафтане и стоптанных калошах на босу ногу. А было 8 градусов мороза. В третий или четвертый раз я встретился с ним глазами и почувствовал такую близость с ним, что уж не то что совестно было заговорить с ним, но совестно было не сказать чего-нибудь. Я спросил, откуда он. Он охотно ответил и заговорил; другие приблизились. Он смоленский, пришел искать работы на хлеб и подати. «Работы, – говорит, – нет, солдаты нынче всю работу отбили. Вот и мотаюсь теперь; верьте Богу, – не ел два дня», – сказал он робко с попыткой улыбки. Сбитенщик, старый солдат, стоял тут. Я подозвал. Он налил сбитня. Мужик взял горячий стакан в руки и, прежде чем пить, стараясь не упустить даром тепло, грел об него руки. Грея руки, он рассказывал мне свои похождения. Похождения или рассказы про похождения почти все одни и те же: была работишка, потом перевелась, а тут в ночлежном доме украли кошель с деньгами и с билетом. Теперь нельзя выйти из Москвы. Он рассказал, что днем он греется по кабакам, кормится тем, что съедает закуску (куски хлеба в кабаках); иногда дадут, иногда выгонят; ночует даром здесь в Ляпинском доме. Ждет только обхода полицейского, который, как беспаспортного, заберет его в острог и отправит по этапу на место жительства. «Говорят, в четверг будет обход, – сказал он, – тогда заберут. Только бы до четверга добиться». (Острог и этап представляются для него обетованной землей.)

Пока он рассказывал, человека три из толпы подтвердили его слова и сказали, что они точно в таком же положении.

Худой юноша, бледный, длинноносый, в одной рубаше на верхней части тела, прорванной на плечах, и в фуражке без козырька, бочком протерся ко мне чрез толпу. Он не переставая дрожал крупной дрожью, но старался улыбаться презрительно на речи мужиков, полагая этим попасть в мой тон, и глядел на меня. Я предложил и ему сбитню; он также, взяв стакан, грел об него руки, и только что начал что-то говорить, как его оттеснил большой, черный, горбоносый, в рубаше ситцевой и жилете, без шапки. Горбоносый попросил тоже сбитня. Потом старик длинный, клином борода, в пальто, подпоясан веревкой и в лаптях, пьяный. Потом маленький, с опухшим лицом и с слезящимися глазами в коричневом нанковом пиджаке и с голыми коленками, торчавшими в дыры летних панталон, стучавшими друг о друга от дрожи. Он не мог удержать стакан от дрожи и пролил его на себя. Его стали ругать. Он только жалостно улыбался и дрожал. Потом кривой урод в лохмотьях и опорках на босу ногу, потом что-то офицерское, потом что-то духовного звания, потом что-то странное, безносое, – всё это голодное и холодное, умоляющее и покорное теснилось вокруг меня и жалось к сбитню. Сбитень выпили. Один попросил денег; я дал. Попросил другой, третий, и толпа осадила меня. Сделалось замешательство, давка. Дворник соседнего дома крикнул на толпу, чтоб очистили тротуар против его дома, и толпа покорно исполнила его приказание. Явились распорядители из толпы и взяли меня под свое покровительство – хотели вывести из давки, но толпа, прежде растянутая по тротуару, теперь вся расстроилась и прижалась ко мне. Все смотрели на меня и просили; и одно лицо было жалче и измученнее и униженнее другого. Я роздал всё, что у меня было. Денег у меня было немного: что-то около 20 рублей, и я с толпой вместе вошел в ночлежный дом.

Ночлежный дом огромный. Он состоит из четырех отделений. В верхних этажах – мужские, в нижних – женские. Сначала я вошел в женское; большая комната вся занята койками, похожими на койки 3-го класса железных дорог. Койки расположены в два этажа – наверху и внизу. Женщины, странные, оборванные, в одних платьях, старые и молодые, входили и занимали места, которые внизу, которые наверху. Некоторые старые крестились и поминали того,

кто устроил этот приют, некоторые смеялись и ругались. Я прошел наверх. Там также размещались мужчины; между ними я увидал одного из тех, которым я давал деньги. Увидав его, мне вдруг стало ужасно стыдно, и я поспешил уйти. И с чувством совершенного преступления я вышел из этого дома и пошел домой. Дома я вошел по коврам лестницы в переднюю, пол которой обит сукном, и, сняв шубу, сел за обед из 5 блюд, за которым служили два лакея во фраках, белых галстуках и белых перчатках.

Тридцать лет тому назад я видел в Париже, как в присутствии тысячи зрителей отрубили человеку голову гильотиной. Я знал, что человек этот был ужасный злодей; я знал все те рассуждения, которые столько веков пишут люди, чтобы оправдать такого рода поступки; я знал, что это сделали нарочно, сознательно; но в тот момент, когда голова и тело разделились и упали в ящик, я ахнул и понял не умом, не сердцем, а всем существом моим, что все рассуждения, которые я слышал о смертной казни, есть злая чепуха, что сколько бы людей ни собралось вместе, чтобы совершить убийство, как бы они себя ни называли, убийство худший грех в мире, и что вот на моих глазах совершен этот грех. Я своим присутствием и невмешательством одобрил этот грех и принял участие в нем.

Тридцать лет тому назад я видел в Париже, как в присутствии тысячи зрителей отрубили человеку голову гильотиной... В тот момент... я ахнул и понял, что... убийство худший грех в мире, и что вот на моих глазах совершен этот грех. Я своим присутствием и невмешательством одобрил этот грех и принял участие в нем.

Так и теперь, при виде этого голода, холода и унижения тысячи людей, я не умом, не сердцем, а всем существом моим понял, что существование десятков тысяч таких людей в Москве, тогда, когда я с другими тысячами объедаюсь филеями и осетриной и покрываю лошадей и полы сукнами и коврами, что бы ни говорили мне все ученые мира о том, как это необходимо, — есть преступление, не один раз совершенное, но постоянно совершающееся, и что я, с своей роскошью, не только попуститель, но прямой участник его. Для меня разница этих двух впечатлений была только в том, что там всё, что я мог сделать, это было то, чтобы закричать убийцам, стоявшим около гильотины и распорядившимся убийством, что они делают зло, и всеми средствами стараться помешать. Но и делая это, я мог вперед знать, что этот мой поступок не помешает убийству. Здесь же я мог дать не только сбитень и те ничтожные деньги, которые были со мной, но я мог отдать и пальто с себя, и всё, что у меня есть дома. А я не сделал этого и потому чувствовал, и чувствую, и не перестану чувствовать себя участником постоянно совершающегося преступления до тех пор, пока у меня будет излишняя пища, а у другого совсем не будет, у меня будут две одежды, а у кого-нибудь не будет ни одной.

III

В тот же вечер, когда я вернулся из Ляпинского дома, я рассказывал свое впечатление одному приятелю. Приятель – городской житель – начал говорить мне не без удовольствия, что это самое естественное городское явление, что я только по провинциализму своему вижу в этом что-то особенное, что всегда это так было и будет, что это должно так быть и есть неизбежное условие цивилизации. В Лондоне еще хуже... стало быть, дурного тут ничего нет и недовольным этим быть нельзя. Я стал возражать своему приятелю, но с таким жаром и с такою злобою, что жена прибежала из другой комнаты, спрашивая, что случилось. Оказалось, что я, сам не замечая того, со слезами в голосе кричал и махал руками на своего приятеля. Я кричал: «так нельзя жить, нельзя так жить, нельзя!» Меня устыдили за мою ненужную горячность, сказали мне, что я ни о чем не могу говорить спокойно, что я неприятно раздражаюсь, и, главное, доказали мне то, что существование таких несчастных никак не может быть причиной того, чтобы отравлять жизнь своих близких.

Я должен был согласиться, что это справедливо, и замолчал; но в глубине души я чувствовал, что и я прав, и не мог успокоиться.

И прежде уже чуждая мне и странная городская жизнь теперь опротивела мне так, что все те радости роскошной жизни, которые прежде мне казались радостями, стали для меня мучением. И как я ни старался найти в своей душе хоть какие-нибудь оправдания нашей жизни, я не мог без раздражения видеть ни своей, ни чужой гостиной, ни чисто, барски накрытого стола, ни экипажа, сытого кучера и лошадей, ни магазинов, театров, собраний. Я не мог не видеть рядом с этим голодных, холодных и униженных жителей Ляпинского дома. И не мог отделаться от мысли, что эти две вещи связаны, что одно происходит от другого.

Помню, что как мне сказалось в первую минуту это чувство моей виновности, так оно и осталось во мне, но к этому чувству очень скоро подмешалось другое и заслонило его.

Когда я говорил про свое впечатление Ляпинского дома моим близким друзьям и знакомым, все мне отвечали то же, что и мой первый приятель, с которым я стал кричать; но, кроме того, выражали еще одобрение моей доброте и чувствительности и давали мне понимать, что зрелище это так особенно подействовало на меня только потому, что я, Лев Николаевич, очень добр и хорош. И я охотно поверил этому. И не успел я оглянуться, как, вместо чувства упрека и раскаяния, которое я испытал сначала, во мне уже было чувство довольства перед своей добродетелью и желание высказать ее людям.

Должно быть, в самом деле, говорил я себе, виноват тут не я собственно своей роскошной жизнью, а виноваты необходимые условия жизни. Ведь изменение моей жизни не может поправить то зло, которое я видел. Изменяя свою жизнь, я сделаю несчастным только себя и своих близких, а те несчастья останутся такие же.

И прежде уже чуждая мне и странная городская жизнь теперь опротивела мне так, что все те радости роскошной жизни, которые прежде мне казались радостями, стали для меня мучением. Я не мог не видеть рядом с этим голодных, холодных и униженных жителей Ляпинского дома. И не мог отделаться от мысли, что эти две вещи связаны, что одно происходит от другого.

И потому задача моя не в том, чтобы изменить свою жизнь, как это мне показалось сначала, а в том, чтобы содействовать, насколько это в моей власти, улучшению положения тех несчастных, которые вызвали мое сострадание. Всё дело в том, что я очень добрый, хороший человек и желаю делать добро ближним. И я стал обдумывать план благотворительной деятельности, в которой я могу выказать всю мою добродетель. Должен сказать, однако, что и обду-

мывая эту благотворительную деятельность, в глубине души я всё время чувствовал, что это не то: но, как это часто бывает, деятельность рассудка и воображения заглушала во мне этот голос совести. В это время случилась перепись. Это показалось мне средством для учреждения той благотворительности, в которой я хотел выказать мою добродетель. Я знал про многие благотворительные учреждения и общества, существующие в Москве, но вся деятельность их казалась мне и ложно направленной, и ничтожной в сравнении с тем, что я хотел сделать. Я и придумал следующее: вызвать в богатых людях сочувствие к городской нищете, собрать деньги, набрать людей, желающих содействовать этому делу, и вместе с переписью обойти все притоны бедности и, кроме работы переписи, войти в общение с несчастными, узнать подробности их нужды и помочь им деньгами, работой, высылкой из Москвы, помещением детей в школы, стариков и старух в приюты и богадельни. Мало того, я думал, что из тех людей, которые займутся этим, составит постоянное общество, которое, разделив между собой участки Москвы, будет следить за тем, чтобы бедность и нищета эта не зарождались; будет постоянно, в начале еще зарождения ее, уничтожать ее; будет исполнять обязанность не столько лечения, сколько гигиены городской бедноты. Я воображал уже себе, что, не говоря о нищих, просто нуждающихся не будет в городе, и что всё это сделаю я, и что мы все, богатые, будем после этого спокойно сидеть в своих гостиных и кушать обед из 5 блюд и ездить в каретах в театры и собрания, не смущаясь более такими зрелищами, какие я видел у Ляпинского дома.

Составив себе этот план, я написал статью об этом и, прежде еще, чем отдать ее в печать, пошел по знакомым, от которых надеялся получить содействие. Всем, кого я видал в этот день (я обращался особенно к богатым), я говорил одно и то же, почти то же, что я написал потом в статье; я предлагал воспользоваться переписью для того, чтобы узнать нищету в Москве и помочь ей делом и деньгами, и сделать так, чтобы бедных не было в Москве, и мы, богатые, с покойной совестью могли бы пользоваться привычными нам благами жизни. Все слушали меня внимательно и серьезно, но при этом со всеми без исключения происходило одно и то же: как только слушатели понимали, в чем дело, им становилось как будто неловко и немножко совестно. Им было как будто совестно и преимущественно за меня, за то, что я говорю глупости, но такие глупости, про которые никак нельзя прямо сказать, что это глупости. Как будто какая-то внешняя причина обязывала слушателей потакать этой моей глупости.

– Ах, да! Разумеется. Это было бы очень хорошо, – говорили мне. – Само собой разумеется, что этому нельзя не сочувствовать. Да, мысль ваша прекрасна. Я сам или сама думала это, но... у нас так вообще равнодушны, что едва ли можно рассчитывать на большой успех... Впрочем, я с своей стороны, разумеется, готов или готова содействовать.

Подобное этому говорили мне все. Все соглашались, но соглашались, как мне казалось, не вследствие моего убеждения и не вследствие своего желания, а вследствие какой-то внешней причины, не позволявшей не согласиться. Я заметил это уже потому, что ни один из обещавших мне свое содействие деньгами, ни один сам не определил суммы, которую он намерен дать, так что я сам должен был определить ее и спрашивать: «так могу я рассчитывать на вас до 300, или 200, или 100, 25 рублей?», и ни один не дал денег. Я отмечаю это потому, что когда люди дают деньги на то, чего сами желают, то, обыкновенно, торопятся дать деньги. На ложу Сарры Бернар сейчас дают деньги в руки, чтобы закрепить дело. Здесь же из всех тех, которые соглашались дать деньги и выражали свое сочувствие, ни один не предложил сейчас же дать деньги, но только молчаливо соглашался на ту сумму, которую я определял. В последнем доме, в котором я был в этот день вечером, я случайно застал большое общество. Хозяйка этого дома уже несколько лет занимается благотворительностью. У подъезда стояло несколько карет, в передней сидело несколько лакеев в дорогих ливреях. В большой гостиной, за двумя столами и лампами, сидели одетые в дорогие наряды и с дорогими украшениями дамы и девицы и одевали маленьких кукол; несколько молодых людей было тут же, около дам. Куклы, сработанные этими дамами, должны были быть разыграны в лотерею для бедных.

Вид этой гостиной и людей, собравшихся в ней, очень неприятно поразил меня. Не говоря о том, что состояние людей, собравшихся здесь, равнялось нескольким миллионам, не говоря о том, что проценты с одного того капитала, который был затрачен здесь на платья, кружева, бронзы, брошки, кареты, лошадей, ливреи, лакеев, были бы во сто раз больше того, что вырабатывают все эти дамы, – не говоря об этом, те расходы, поездки сюда всех этих дам и господ, перчатки, белье, переезд, свечи, чай, сахар, печенье хозяйке стоили в сто раз больше того, что здесь сработают. Я видел всё это и потому мог бы понять, что здесь-то я уж не найду сочувствия своему делу; но я приехал, чтобы сделать свое предложение, и, как ни тяжело мне это было, я сказал то, что хотел (я говорил почти всё то же, что написал в своей статье).

Из бывших тут людей одна особа предложила мне денег, сказав, что сама по бедным идти не чувствует себя в силах по своей чувствительности, но денег даст; сколько денег и когда она доставит их, она не сказала. Другая особа и один молодой человек предложили свои услуги хождения по бедным; но я не воспользовался их предложением. Главное же лицо, к которому я обращался, сказало мне, что нельзя будет сделать многого, потому что средств мало. Средств же мало потому, что богатые люди Москвы все уже на счету и у всех выпрошено всё, что только можно, что уже всем этим благотворителям даны чины, медали и другие почести, что для успеха денежного нужно выпросить какие-нибудь новые почести от властей и что это одно действительное средство, но что это очень трудно.

Вернувшись домой в этот день, я лег спать не только с предчувствием, что из моей мысли ничего не выйдет, но со стыдом и сознанием того, что целый этот день я делал что-то очень гадкое и стыдное. Но я не оставил этого дела. Во-первых, дело было начато, и ложный стыд помешал бы мне отказаться от него; во-вторых, не только успех этого дела, но самое занятие им давало мне возможность продолжать жить в тех условиях, в которых я жил; неуспех же подвергал меня необходимости отречения от своей жизни и искания новых путей жизни. А этого я бессознательно боялся. И я не поверил внутреннему голосу и продолжал начатое.

Отдав в печать свою статью, я прочел ее по корректуре в Думе. Я прочел ее, краснея до слез и запинаясь: так мне было неловко. Так же неловко было, я видел, и всем слушателям. На вопрос мой по окончании чтения о том, принимают ли руководители переписи предложение мое оставаться на своих местах, для того чтобы быть посредниками между обществом и нуждающимися, произошло неловкое молчание. Потом два оратора сказали речи. Речи эти как бы поправили неловкость моего предложения; выражено было мне сочувствие, но указано было на неприложимость моей одобряемой всеми мысли. Всем стало легче. Но когда я потом, всё-таки желая добиться своего, спрашивал у руководителей порознь: согласны ли они при переписи исследовать нужды бедных и оставаться на своих местах, чтобы служить посредниками между бедными и богатыми, им всем опять стало неловко. Как будто они взглядами говорили мне: ведь вот смазали из уважения к тебе твою глупость, а ты опять с ней лезешь! Такое было выражение их лиц; но на словах они сказали мне, что согласны, и двое из них, каждый порознь, как будто сговорились, одними и теми же словами сказали: «мы считаем себя *нравственно обязанными* это сделать». То же самое впечатление произвело мое сообщение и на студентов-счетчиков, когда я им говорил о том, что мы во время переписи, кроме цели переписи, будем преследовать цель благотворительности. Когда мы говорили про это, я замечал, что им как будто совестно смотреть мне в глаза, как совестно смотреть в глаза доброму человеку, говорящему глупости.

Такое же впечатление произвела моя статья на редактора газеты, когда отдал я ему статью, на моего сына, на мою жену, на самых разнообразных лиц. Всем почему-то становилось неловко, но все считали необходимым одобрить самую мысль, и все тотчас после этого одобрения начинали высказывать свои сомнения в успехе и начинали почему-то (но все без исключения) осуждать равнодушие и холодность нашего общества и всех людей, очевидно кроме себя.

В глубине души я продолжал чувствовать, что всё это не то, что из этого ничего не выйдет; но статья была напечатана, и я взялся участвовать в переписи; я затеял дело, и дело само уж затянуло меня.

IV

Мне назначили для переписи, по моей просьбе, участок Хамовнической части, у Смоленского рынка, по Проточному переулку, между Береговым проездом и Никольским переулком. В этом участке находятся дома, называемые вообще Ржанов дом, или Ржановская крепость. Дома эти принадлежали когда-то купцу Ржанову, теперь же принадлежат Зиминным. Я давно уже слышал про это место, как про притон самой страшной нищеты и разврата, и потому просил учредителей переписи назначить меня в этот участок.

Желание мое было исполнено.

Получив распоряжение Думы, я за несколько дней до переписи один пошел обходить свой участок. По плану, который мне дали, я тотчас же нашел Ржанову крепость.

Я зашел с Никольского переулка. Никольский переулок кончается с левой стороны мрачным домом без выходящих на эту сторону ворот; по виду этого дома я догадался, что это и есть Ржановская крепость.

Спускаясь под гору по Никольской улице, я поравнялся с мальчиками от 10 до 14 лет, в кофточках и пальтецах, катавшихся кто на ногах, кто на одном коньке под гору по обледеневшему стоку тротуара подле этого дома. Мальчики были оборванные и, как все городские мальчики, бойкие и смелые. Я остановился посмотреть на них. Из-за угла вышла с желтыми обвисшими щеками оборванная старуха. Она шла в гору к Смоленскому и страшно, как запаленная лошадь, хрипела при каждом шаге. Поравнявшись со мной, она остановилась, переводя хрипящее дыхание. Во всяком другом месте эта старуха попросила бы у меня денег, но здесь она только заговорила со мной.

– Вишь, – сказала она, указывая на катавшихся мальчиков, – только баловаться! Такие же ржановцы, как отцы, будут.

Один из мальчиков в пальто и картузе без козырька услышал ее слова и остановился.

– Что ругаешься? – закричал он на старуху. – Сама ржановская козюлиха!

Я спросил у мальчика:

– А вы тут живете?

– Да, и она тут. Она голенищи украла! – крикнул мальчик и, подняв вперед ногу, покатился дальше.

Старуха разразилась неприличным матерным ругательством, прерываемым кашлем. С горы в это время, размахивая руками (в одной была связка с одним маленьким калачом и баранками), шел по середине улицы белый, как лунь, старик, весь в лохмотьях. Старик этот имел вид человека, только что подкрепившегося шкаликом. Он слышал, видно, брань старухи и взял ее сторону.

– Я вас, чертенята, у! – крикнул он на ребят, направляясь как будто на них, и, обогнув меня, взошел на тротуар.

Старик этот на Арбате поражает своею старостью, слабостью и нищетой. Здесь это был веселый работник, возвращающийся с дневного труда.

Я пошел за стариком. Он загнул за угол налево в Проточный переулок и, пройдя весь дом и ворота, скрылся в двери трактира.

На Проточный переулок выходят двое ворот и несколько дверей: трактира, кабака и нескольких съестных и других лавочек. Это – самая Ржанова крепость. Всё здесь серо, грязно, вонюче – и строения, и помещения, и дворы, и люди. Большинство людей, встретившихся мне здесь, были оборванные и полураздетые. Одни проходили, другие перебегали из дверей в двери. Двое торговались о каком-то тряпье. Я обошел всё строение с Проточного переулка и Берегового проезда и, вернувшись, остановился у ворот одного из домов. Мне хотелось зайти посмотреть, что делается там, в середине, но жутко было. Что я скажу, когда меня спросят,

что мне нужно? Поколебавшись, я вошел-таки. Как только я вошел во двор, я почувствовал отвратительную вонь. Двор был ужасно грязный. Я повернул за угол и в ту же минуту услышал налево от меня, наверху, на деревянной галерее, топот шагов бегущих людей, сначала по доскам галереи, а потом по ступеням лестницы. Прежде выбежала худая женщина с засученными рукавами, в слинявшем розовом платье и ботинках на босу ногу. Вслед за ней выбежал лохматый мужчина в красной рубахе и очень широких, как юбка, портках, в калошах. Мужчина под лестницей схватил женщину.

– Не уйдешь! – проговорил он смеясь.

– Вишь, косоглазый черт! – начала женщина, очевидно польщенная этим преследованием, но увидала меня и злобно крикнула: – кого надо?

Так как мне никого не надо было, я смутился и ушел. Удивительного тут ничего не было; но случай этот, после того что я видел с той стороны двора ругающуюся старуху, веселого старика и катавшихся мальчишек, вдруг совершенно с новой стороны показал мне то дело, которое я затевал. А затевал я облагодетельствовать этих людей с помощью московских богачей. Я понял тут в первый раз, что у всех тех несчастных, которых я хотел облагодетельствовать, кроме того времени, когда они, страдая от холода и голода, ждут впуска в дом, есть еще время, которое они на что-нибудь да употребляют, есть еще 24 часа каждые сутки, есть еще целая жизнь, о которой я прежде не думал. Я понял здесь в первый раз, что все эти люди, кроме желания укрыться от холода и насытиться, должны еще жить как-нибудь те 24 часа каждые сутки, которые им приходится прожить так же, как и всяким другим. Я понял, что люди эти должны и сердиться, и скучать, и храбриться, и тосковать, и веселиться. Я, как ни странно это сказать, в первый раз ясно понял, что дело, которое я затевал, не может состоять в том только, чтобы накормить и одеть тысячу людей, как бы накормить и загнать под крышу 1000 баранов, а должно состоять в том, чтобы сделать доброе людям. И когда я понял, что каждый из этой тысячи людей такой же точно человек, с таким же прошедшим, с такими же страстями, соблазнами, заблуждениями, с такими же мыслями, такими же вопросами, – такой же человек, как и я, то затеянное мною дело вдруг представилось мне так трудно, что я почувствовал свое бессилие. Но дело было начато, и я продолжал его.

V

В первый назначенный день студенты-счетчики пошли с утра, а я, благотворитель, пришел к ним часов в 12. Я не мог прийти раньше, потому что встал в 10, потом пил кофе и курил, ожидая пищеварения. Я пришел в 12 часов к воротам Ржановского дома. Городовой указал мне трактир с Берегового проезда, в который счетчики велели приходить всем, кто будет их спрашивать. Я вошел в трактир. Трактир очень темный, вонючий и грязный. Прямо стойка, налево комнатка со столами, покрытыми грязными салфетками, направо большая комната с колоннами и такие же столики у окон и по стенам. Кое-где у столов за чаем мужчины, оборванные и прилично одетые, как рабочие или мелкие торговцы, и несколько женщин. Трактир очень грязный; но сейчас видно, что трактир торгует хорошо. Деловитое выражение лица приказчика за стойкой и расторопная готовность молодцов. Не успел я войти, как уже один половой готовился снять пальто и подать, что прикажут. Видно, что заведена привычка спешной и отчетливой работы. Я спросил про счетчиков.

– Ваня! – крикнул маленький, по-немецки одетый человек, что-то устанавливающий в шкафу за стойкой.

Это был хозяин трактира, калужский мужик Иван Федотыч, снимающий и половину квартир Зиминских домов и сдающий их жильцам. Подбежал половой, мальчик лет 18, худой, горбоносый, с желтым цветом лица.

– Проводи барина к счетчикам; они в большой корпус, над колодцем, пошли.

Мальчик бросил салфетку и надел пальто сверх белой рубахи и белых штанов и картуз большой с козырьком и, быстро семеня белыми ногами, повел меня чрез задние двери с блоком. В сальной, вонючей кухне и сенях мы встретили старуху, которая бережно несла куда-то очень вонючую требуху в тряпке. Из сеней мы спустились на покатый двор, весь застроенный деревянными, на каменных нижних этажах, постройками. Вонь на всем дворе была очень сильная. (Центром этой вонючей вонючки был нужник, около которого всегда, сколько раз я ни проходил мимо него, торопились люди. Нужник не был сам местом испражнения, но он служил указанием того места, около которого принято было обычаем испражняться. Проходя по двору, нельзя было не заметить этого места; всегда тяжело становилось, когда входил в едкую атмосферу отделяющегося от него зловония.)

Мальчик, оберегая свои белые панталоны, осторожно провел меня мимо этого места по замерзшим и незамерзшим нечистотам и направился к одной из построек. Проходившие по двору и по галереям люди все останавливались посмотреть на меня. Очевидно, чисто одетый человек был в этих местах в диковинку.

Мальчик спросил одну женщину, не видала ли она, где счетчики, и человека три сразу отвечали на его вопрос; одни говорили: над колодцем, а другие говорили, что были, но вышли и пошли к Никите Ивановичу. Старик в одной рубахе, оправляющийся около нужника, сказал, что в 30-м номере. Мальчик решил, что это сведение самое вероятное, и повел меня в 30-й номер, под навес подвального этажа, в мрак и вонь, другую, чем та, которая была на дворе. Мы сошли вниз и пошли по земляному полу темного коридора. Когда мы проходили по коридору, одна дверь порывисто отворилась, и из нее высунулся пьяный старик в рубахе, вероятно, не из мужиков. Человека этого с пронзительным визгом гнала и толкала прачка засученными мыльными руками. Ваня, мой провожатый, отстранил пьяного и сделал ему выговор.

– Не годится скандалничать так, – сказал он. – Еще офицер!

И мы пришли к двери 30-го номера. Ваня потянул ее. Дверь, чмокнув, отлипла, отворилась, и на нас пахнуло мыльными парами, едким запахом дурной еды и табаку, и мы вошли в совершенный мрак. Окна были на противоположной стороне, а тут шли дощатые коридоры направо и налево и дверки под разными углами в комнаты, неровно забранные крашеным водян-

ной белой краской тесом. В темной комнате, налево, виднелась стирающая в корыте женщина. Из одной дверки направо выглядывала старушка. В другую отворенную дверь виден был обросший краснорожий мужик в лаптях, сидевший на нарах; он держал руки на коленях, помахивая ногами, обутыми в лапти, и мрачно смотрел на них.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.